

ЧАРЛЬЗ

Букеровски

Пись-
ма

О ПИСЬ-
ме

нецензурно
брань! Содержит
18+



Чарльз Буковски

Письма о письме

«ЭКСМО»

2015

УДК 821.111-4(31)
ББК 84(7Coe)-44

Буковски Ч.

Письма о письме / Ч. Буковски — «Эксмо», 2015

ISBN 978-5-699-92145-4

«Я работал на бойнях, мыл посуду; работал на фабрике дневного света; развешивал афиши в нью-йоркских подземках, драил товарные вагоны и мыл пассажирские поезда в депо; был складским рабочим, экспедитором, почтальоном, бродягой, служителем автозаправки, отвечал за кокосы на фабрике тортиков, водил грузовики, был десятником на оптовом книжном складе, переносил бутылки крови и жал резиновые шланги в Красном Кресте; играл в кости, ставил на лошадей, был безумцем, дураком, богом...» — пишет о себе Буковски. Что ж, именно таким — циничным, brutальным, далеким от рафинированной богемы — и представляется большинству читателей тот, кто придумал Генри Чинаски, которого традиционно считают альтер-эго автора. Книга «Письма о письме» откроет вам другого Буковски — того, кто написал: «Творение — наш дар, и мы им больны. Оно плескалось у меня в костях и будило меня пялиться на стены в пять часов утра...» Того, кто был одержим писательством и, как любой писатель, хотел, чтобы его слышали.

УДК 821.111-4(31)
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-699-92145-4

© Буковски Ч., 2015

© Эксмо, 2015

Содержание

От составителя	7
1945	9
1946	10
1947	13
1953	14
1954	17
1955	20
1956	21
1958	22
1959	23
1960	27
1961	33
1962	38
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Чарльз Буковски

Письма о письме

© Немцов М., перевод на русский язык, 2017

© ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

От составителя



Письма Буковски точно воспроизвести практически невозможно, поскольку многие обильно украшены рисунками и почеркушками. Сходным же образом вся его корреспонденция 1945–1954 годов написана от руки – так совпало, что это был печально известный десятилетний запой Буковски, когда он, по его обманчивым утверждениям, вообще ничего не писал, как будто обо всем его рукописном материале можно было забыть, – и потому ее здесь тоже нельзя воспроизвести как надо. Однако некоторые выдающиеся письма приведены факсимильно, чтобы их можно было оценить так, как к этому стремился сам автор.



Чтобы сохранить причудливый стиль письма Буковски, редакторская правка здесь сведена к минимуму. Хотя пунктуация у Буковски была вполне точна, его орфография в лучшем случае прихотлива, что признавал и он сам. В этом сборнике ненамеренные опечатки исправлены без пояснений, а намеренные оставлены в попытке как можно лучше сохранить его голос. Таким же образом опущены приветствия и прощания, которые по большей части одинаковы. Буковски писал очень много писем, и послания его обычно бывали длинные, в них обсуждались и темы, не связанные с литературой. Редакторские сокращения обозначены [...]. Редакторские пометки в тексте также заключены в квадратные скобки. Чтобы что-то подчеркнуть, Буковский пользовался ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, и если это названия книг, то они заменены на курсив¹, а если названия стихотворений или рассказов – заключены в кавычки. Даты и названия тоже приведены к единому виду. Если не считать этих случаев редакторского вмешательства, все письма напечатаны так, как их писал сам автор.

¹ В оригинальном издании. В переводе мы придерживались традиционных кавычек, курсивом выделены только подчеркиваемые автором слова. Имена собственные в большинстве случаев приведены согласно современной произносительной норме. *Здесь и далее прим. перев.*

1945

Хэлли Бёрнетт была соредактором журнала «Рассказ»², где Буковски впервые опубликовали в 1944 году.

[Хэлли Бёрнетт]

Конец октября 1945 г.

Я получил ваш отказ на «Уитмен: его поэзия и проза» вместе с неформальными комментариями ваших рецензентов рукописей.

Вроде вполне мило.

Если вам понадобится лишний рецензент рукописей, пожалуйста, дайте мне знать. Я нигде не могу найти работу, так что можно и с вами попробовать.

² «Рассказ» – «Story», литературный журнал, основанный в 1931 г. американским журналистом и редактором Уитом Бёрнеттом (1900–1972) и его женой Мартой Фоули (1897–1977) в Вене, с 1933-го по 1967 г. выходил в Нью-Йорке; издание было возобновлено в 1989–2000 гг. Хэлли Саутгейт Бёрнетт (Зайсел, 1909–1991) – вторая жена Уита Бёрнетта, писательница и со-редактор журнала «Рассказ» (1942–1971).

1946

[Карессе Кросби]

9 октября 1946 г.

Фила, Па
9 окт. 1946

Уважаемая
миссис Кросби,



Я работал
на багетной
фабрике



и пил, когда вы
приняли один мой
рассказ



в письме вы сказали,
он «загадочен и глубоок».



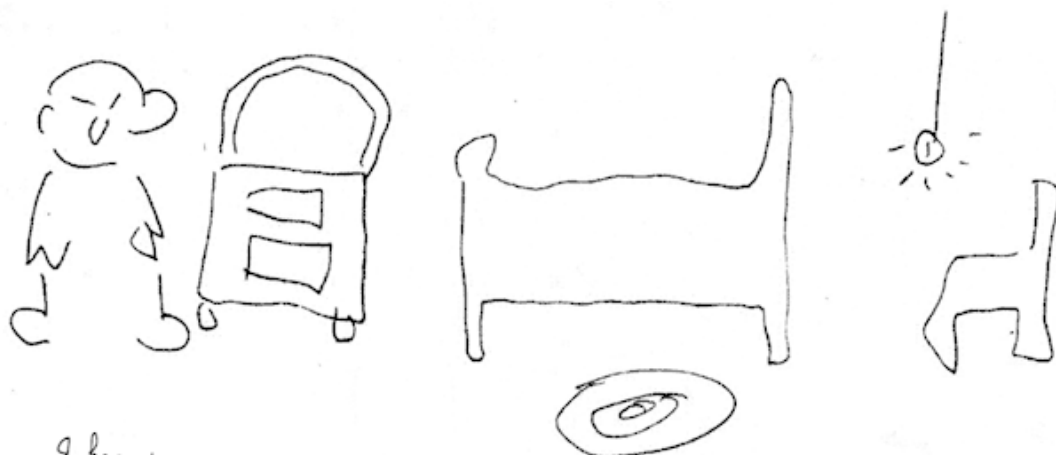
Я потерял работу,



отец купил мне
новый костюм
и отправил меня
в Филадельфию



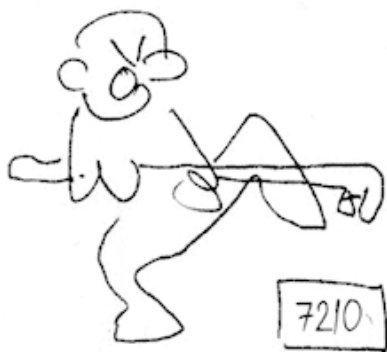
Я жил на социальное
пособие, у меня было
слишком много времени
думать и пить —



Я все размышлял про «Портфолио».



Писал разные оскорбительные заметки, выписывал французские слова у себя на последних страницах словаря. Мне хотелось получить экземпляр «Портфолио» со своим рассказом в нем. У меня была чокнутая тоска, мания самоубийства, винные грезы. Мне требовался духовный пинок, я в своих требованиях был восторжен. После нескольких пересадок я его получил («Портфолио»)



Теперь я работаю на складе инструментов —



и бухаю



Однако не понимаю все равно. Где же те рассказы и наброски, что я слал ей в марте 1946-го? Она сердится? Это ее месть? Она сожгла мои вещи? Сделала из страниц бумажные кораблики для ванны? Или они у Хенри Миллера под матрасом и он на них спит?

Больше я ждать не могу.

Если не получу ответа, это мне и будет ответом,

Искренне,

Чарльз Буковски

Сев. 17-я ул., 603

Фила, 30, Па.

[Карессе Кросби]

Ноябрь 1946 г.

Я *должен* написать вам еще раз и сообщить, в каком я восторге от получения того восхитительного снимка – Рим, 1946-й – и вашей записки. Что касается потерянных рукописей – ну их к черту – все равно они ни на что не годны – разве что за исключением нескольких лютых набросков, что я сделал, пока паразитировал на своих родителях в Лос-Анджелесе. Но это все птичкам: я – поэт и пр.

От бухла я по-прежнему шаток – машинки нет. Все же, ха ха, пишу свое барахло чернилами, печатными буквами. Удалось избавиться от трех ничего так себе рассказов и четырех неудовлетворительных стихотворений в «Матрицу», довольно старомодный филаделфийский «маленький журнал».

Я вообще-то человек уж больно нервный, чтоб автостопом приехать в Вашингтон повидаться с вами. Я разобьюсь на всевозможные маленькие четвертинки. Но спасибо, правда. Вы очень достойно себя вели, очень.

Возможно, вскоре пришлю вам что-нибудь, но не сразу. Что бы это ни значило.

1947

[Уиту Бёрнетту]

27 апреля 1947 г.

Спасибо вам за весточку.

Не думаю, что мог бы сделать роман – у меня нет позыва, хоть я и думал об этом и когда-нибудь, наверное, попробую. Называться будет «Благословенный мастак», и он будет о рабочем из простонародья, про фабрики и города, про мужество, уродство и пьянство. Только не думаю, что, если стану писать его сейчас, выйдет что-нибудь хорошее. Мне придется надлежащим образом разогреться. Кроме того, у меня сейчас столько личных хлопот, что я не в состоянии в зеркало смотреть, не то что книжку выгнать. Я вместе с тем удивлен и доволен вашей заинтересованностью.

Других чернильных набросков, без рассказов, у меня сейчас нет. «Матрица» взяла только один, который я так сделал.

Мир в последнее время довольно-таки взял малыша Чарльза за яйца, и писателя в нем осталось немного, Уит. Поэтому получить записку от вас было чертовски мило.

1953

[Карессе Кросби]

7 августа 1953 г.



Привет, миссис Кросби:

Увидел в книжном обозрении (на самом деле так и не прочел, но) ваше имя, «Ежедневная Пресса».

Вы меня напечатали какое-то время назад в «Портфолио», одном из самых ранних (1946-й или где-то?). Ну, однажды заехал в город с долгого запоя, пришлось жить с родителями в хилые времена. Штука в том, что родители прочли рассказ («20 танков из Касселдауна») и сожгли к черту весь «Портфолио». Теперь экземпляра больше нет. Единственного куска не хватает из моих немногих опубликованных работ. Если у вас есть лишний экземпляр???? (а я не знаю, какого черта он у вас должен быть) очень кстати будет, если вы мне его переправите.

Теперь я много не пишу, мне уже скоро 33, брюхо и ползучая деменция. Продал машинку, чтоб уйти в запой 6 или 7 лет назад, а не-алкогольных \$ мне никак не хватает на другую. Теперь время от времени пишу свое от руки печатными буквами и украшаю их рисунками (как любой другой псих). Иногда рассказы просто выбрасываю, а картинки вешаю в уборной (иногда на рулоне).

Надеюсь, «20 танков» у вас есть. Был бы признат.



[Джадсону Крюзу]

Конец 1953 г.

Вы один в Америке шлете бодрые отказы. Приятно получать вести за этими дивными снимками! Неплохой вы парень, могу себе представить.

На меня произвел впечатление ваш последний выпуск «Невооруженного уха». От него разило живостью и художественным мастерством гораздо сильнее, чем, скажем, от последнего издания «Кеньонского обозрения». Это потому, что вы печатаете то, что *хотите* печатать, а не то, что *подобаает*. Так держать.

Вчера встретился с Дженет Науфф. Она с вами знакома. Сводил ее на бега.

[Джадсону Крюзу]

4 ноября 1953 г.

Буду с вами честен. Можете оставить эти стихи себе, на сколько хотите, потому что, если вы мне их вернете, я просто выкину.

Не считая нескольких сверху, от этих стихов отказались журнал «Поэзия» и новое подразделение, «Эмбрион». Хвалебные отзывы и т. д., но они не считают, что моя писанина – поэзия. Я понимаю, о чем они. Замысел там есть, но кожу я прорвать не могу. Я не умею настройки крутить. Поэзия меня не интересует. Я не знаю, что меня интересует. Чтоб нескучно было, наверно. Подобающая поэзия – поэзия мертвая, пусть и хорошо смотрится.

Оставляйте это себе, на сколько хочется. Вы один проявили хоть какой-то интерес. Если еще сделаю, вышлю их вам.

1954

[Уиту Бёрнетту]

10 июня 1954 г.

Привет, мистер Бёрнетт:

Просьба отметить перемену адреса (Сев. Уэстморленд-авеню, 323½, Л.-А. 4), если задержите еще какие-то мои алкашные шедевры.



Эта штука, от которой отказался «Эсквайр», – расширенный вариант наброска, который я вам присылал какое-то время назад. Полагаю, слишком она сексуальна для публикации. Я только не знаю, что это значит. Я просто взялся с нею играть, и она со мной сбежала. Думаю, Шервуду Эндерсону понравилась бы, но прочесть ее он не сможет.

[Уиту Бёрнетту]

25 августа 1954 г.

Мне жаль слышать, из записки, присланной мне из Смиттауна пару месяцев назад, что «Рассказ» больше не жив.

Я отправлял еще один рассказ примерно в то время, называется «История насильника», но не слышал. Шевелится ли?

Я навсегда запомню старый оранжевый журнал с белой манжеткой. Отчего-то у меня всегда было такое представление: я могу писать все, что захочу, и если окажется достаточно

хорошо, оно туда попадет. Такой мысли при взгляде на другие журналы у меня не возникало, а особенно – сегодня, когда все, к черту, так боятся оскорбить или сказать что-то против кого-нибудь другого – честный писатель оказывается в черт-те какой яме. То есть садишься писать и сразу знаешь, что без толку. Теперь уже нет бывшего мужества, бывшего упорства и бывшей ясности – бывшего Мастерства тоже нет.

По мне, все пошло к черту со Второй мировой войной. И не только Искусство. Даже сигареты на вкус уже не такие. Тамалес. Чили. Кофе. Все из пластмассы. Редиска больше не резка на вкус. Чистишь яйцо – и неизменно яйцо сходит вместе со скорлупой. Свиные отбивные все жирны и розовы. Люди покупают новые машины и больше ничего. Такова их жизнь: четыре колеса. Города включают лишь треть своих уличных фонарей, чтобы экономить электричество. Полицейские выписывают штрафы как сумасшедшие. Пьяных штрафуют на зверские суммы, а пьяны почти все, кто хоть сколько-то выпил. Собак надо держать на поводках, собакам нужно делать прививки. Чтобы поймать груниона руками, нужна рыболовная лицензия, а книжки комиксов считаются опасными для детей. Мужчины смотрят боксерские бои, не вставая с кресла, те, кто никогда и не знал, что такое боксерский бой, а когда не согласны с решением, они пишут ядовитые и скандальные письма в газеты, возмущенно негодуя.

И рассказы: там ничего: никакой жизни. [...]

«Рассказ» для меня кое-что значил. И, наверное, таков обычай мира – провожать его, а мне интересно, что будет дальше?

Помню, я раньше писал и слал вам по пятнадцать или двадцать или больше рассказов в месяц, а потом – три, четыре или пять, – и обыкновенно по *меньшей* мере один в неделю. Из Нью-Орлеана и Фриско, из Майами и Л.-А., из Филли и Сент-Луиса, Атланты и Гринвич-Виллидж, из Хьюстона и откуда угодно.

Бывало, сидел у открытого окна в Нью-Орлеане и глядел сверху на летние улицы ночи и касался клавиш, а когда во Фриско я продал машинку, чтоб на нее напиться, я не мог бросить писать, и бухать я тоже не мог бросить, поэтому писал свою дрянь от руки печатными буквами, чернилами, много лет, а потом украшал ту же дрянь рисунками, чтоб вы обратили внимание.

Ну а теперь говорят, что пить мне уже нельзя, и у меня другая пишущая машинка. У меня теперь есть что-то вроде работы, но не знаю, сколько я за нее продержусь. Я слабый и легко болеваю и все время нервничаю, и, наверно, у меня где-то парочка коротких замыканий, но с ними я будто бы снова могу касаться этих клавиш, касаться их и делать строчки, готовить сцену, декорации, заставлять людей ходить, разговаривать и закрывать двери. А «Рассказа» больше нет.

Но я хочу сказать вам спасибо, Бёрнетт, за то, что терпели меня. Я знаю, многое там было скверно. Но то были хорошие деньки, дни на Четвертой авеню, 16, 438, и теперь, как и все остальное, сигареты и вино, и косые воробьи под полумесяцем, ничего этого нет. Скорбь гуще вара. Прощайте, прощайте.

[Карессе Кросби]

9 декабря 1954 г.

Я получил ваше письмо из Италии год или около того назад (в ответ на мое). Хочу поблагодарить вас за то, что меня помните. Весточка от вас меня несколько укрепила.

Вы по-прежнему публикуете? Если да, у меня есть кое-что, и мне бы хотелось, чтоб вы на это глянули. И если да, мне бы хотелось получить адрес, на который высылать: я не знаю, как с вами связаться.

Я опять пишу, немного. [Чарльз] Шэттак из «Акцента» говорит, что ему непонятно, как я отыщу издателя для моей писанины, но, быть может, настанет день, и «вкус публики до вас дорастет». Господи боже.

В прошлом году вы прислали мне в своем письме брошюрку – стопку листков или что-то на итальянском. Вы приняли меня за человека образованного: я прочесть ее не сумел. Я даже не настоящий художник – знайте, что я в каком-то смысле подделка – вроде как пишу из нутра отвращения, едва ли не полностью. Однако стоит мне увидеть, что делают другие, я продолжаю свое. А что еще остается? [...]

У этого мастака еще одна холопская работа. Я ее терпеть не могу, но у меня две пары ботинок впервые в жизни (мне нравится наряжаться на скачки – изображать настоящего зрителя на бегах). Последние 5 лет я живу с женщиной на 10 лет старше. Но я к ней привык и чересчур устал, чтобы искать чего-то еще или рвать с ней.

Пожалуйста, сообщите свой редакционный адрес, если по-прежнему издаете, и еще раз спасибо вам за то, что были любезны меня вспомнить и написать.

1955

[Уиту Бёрнетту]

27 февраля 1955 г.

Спасибо за возврат старых рассказов; и приложенную записку.

Мне теперь получше, хотя я чуть не умер в благотворительной палате Окружной больницы. Там точно бардак, и если вы про это место чего слышали, вероятно, все правда. Я пролежал там 9 дней, и мне прислали счет на \$14.24 в день. Ну и благотворительность. Написал про это рассказ, называется «Пиво, вино, водка, виски; вино, вино, вино» и отправил в «Акцент». Они вернули: «...вполне кровавый выпад. Быть может, когда-нибудь вкус публики до вас дорастет».

Боже мой. Надеюсь, что нет. [...]

Кстати, в своей записке вы сказали, что никогда меня не печатали. У вас сохранился экземпляр «Рассказа» за март-апрель 1944-го?

В общем, мне уже 34. Если не добьюсь ничего к своим 60, просто отпущу себе еще 10 лет.

1956

Стихотворение «Записка Карлу Сэндбёргу» до сих пор не опубликовано; роман «Где переночевать» был заброшен после того, как издательство «Даблдей» отказалось от нескольких глав.

[Кэрол Эли Харпер]

13 ноября 1956 г.

Стихи, что вы упоминаете, по-прежнему доступны – я не храню копии и потому не помню эти стихи до конца, но особенно доволен, что вы приняли «Записку Карлу Сэндбёргу». Это стихотворение я написал преимущественно самому себе, не думая, что кому-то достанет мужества его опубликовать.

Мне 36 лет (8–16–20), и я впервые напечатался (с рассказом) в журнале Уита Бёрнетта «Рассказ» еще в 1944-м. Потом несколько рассказов и стихов в 3 или 4 номерах «Матрицы» примерно в то же время и рассказ в «Портфолио». Как вам известно, ныне эти журналы покойны. И еще, ах да, рассказ и пару стихотворений в чем-то под названием «Пиши» – оно вышло раз или два, а потом бросили. Затем лет 7 или 8 я писал очень, очень мало. Запой у меня был тот еще. В итоге я оказался в благотворительной больничной палате с дырами в животе, рыгал кровью, как водопад. В меня без остановки перелили 7 пинт – и я выжил. Сейчас я уже не тот, каким был раньше, но снова пишу.

Вчера получил записку из Испании от миссис Хиллз, где она ставила меня в известность, что одно мое стихотворение принято в «Кихот». А кроме того, какие-то рассказы и стихи появятся в следующем издании «Арлекина» – нового журнала, который выпустил свой первый номер в Техасе, а теперь переехал в Л.-А. Они попросили меня вступить к ним в редакцию, что я и сделал. И это вполне себе переживание; и вот что я узнал: пишет столько, *столько* писателей, кто вообще не умеет писать, и они всё пишут себе и пишут все эти клише и банальности, и сюжеты 1890-х годов, и стихи о Весне, и стихи о Любви, и стихи, которые сами считают современными, потому что написаны они сленгом или стаккато, или написаны сплошь с маленькими «я», или, или, *или!!!* ... В общем, видите, я не могу вступить в «Группу Эксперимент», но польщен тем, что вы сочли возможным меня пригласить. Попросту – как вам наверняка известно по вашему нервному срыву – не хватает времени – у меня обыденная, утомительная, низкооплачиваемая работа 44 часа в неделю, а 4 вечера в неделю я хожу в вечернюю школу, по 2 часа в вечер, плюс час или два на домашнюю работу. Я записался на курс Коммерческого Искусства на следующие пару лет, если выдержу (таков уговор с вечерней школой), а кроме того, я только что начал свой первый роман «Где переночевать». Рассказывая вам все это, я чрезмерен, поэтому, если *не* пришлю вам парочку одноминутных пьес, вы будете знать, из-за чего. Тем не менее, если я себя знаю, вы от меня получите кое-какие попытки. Хотя не думаю, что драматическая форма расшевелит меня как полагается. Посмотрим.

1958

Четыре стихотворения, упомянутые ниже, были напечатаны в первом номере «Номада» в 1959 г.

[Редакторам «Номада»]

Сентябрь 1958 г.

Я доволен, что вы выбрали 4 стихотворения, которые вам понравились. Это вполне оптовое число и подпитка на изрядный срок. Либо поле поэзии раскрывается, либо я, либо мы оба. Так или иначе, это мило, и я обязан время от времени позволять себе ощущение приятности. [...]

Что до меня, должно быть, я кажусь довольно старым, чтоб начать заниматься поэзией: 16-го числа минувшего августа мне исполнилось 38, а я чувствую себя, выгляжу и поступаю, как человек чертовски старше. Последние пару лет я работал с поэзией после пустых примерно 10 лет, которые, наверное, сам на себя навлек, и довольно несчастных, хоть и не без кое-каких мгновений. Я не из тех, кто оглядывается на тщетную растрату, считая ее совсем уж потерей – музыка во всем, даже в поражении, – но когда я оказался на смертном одре в благотворительной палате, это меня несколько притормозило, дало, что называется, передышку подумать. Я поймал себя на том, что пишу поэзию: чертовское состояньице. Я в свои ранние годы работал с рассказом, меня довольно сильно поддерживал Уит Бёрнетт, открыватель У [ильяма] Сарояна и прочих и основатель тогда знаменитого журнала «Рассказ». Уит наконец принял один – я ему, бывало, присылал 15 или 20 рассказов в месяц, а когда они возвращались, я их рвал – тогда еще, в 1944-м я был неиспорчен, яростен и мне было 24. 3 или 4 рассказа я залудил в «Матрицу», а один в международное обозрение того времени под названием «Портфолио», и затем более-менее вышвырнул все за борт, покуда пару лет назад не начал писать исключительно поэзию. В первый год никто не велся, а потом меня опубликовали (и это подводит нас к нынешнему положению) в «Кихоте», «Арлекине», «Экзистарии», «Невооруженном ухе», «Поэтическом журнале Белойт», «Катафалке», «Подходе», «Обозрении Компаса» и «Ртути». Для будущих публикаций мои работы приняты во «Вставку», «Кихот», «Семину», «Оливант», «Эксперимент», «Катафалк», «Взгляды», «Обзор принуждения», «Побережья», «Виселицу» и «Сан-Францисское обозрение». «Катафалк» выпускает в начале будущего года брошюрой мои стихи – «Цветок, кулак и зверский вой»... Ребенком я ходил в Городской колледж Л.-А. и учился там на курсе журналистики, но к газете ближе всего подхожу, когда каждые 2 или 3 дня пролистываю какую-нибудь без особого, к черту, интереса. Вернулся в вечернюю школу где-то год назад и записался на какие-то курсы по искусству, коммерческому и другому, но они опять же были для меня слишком медленны и требовали слишком много почтения. У меня нет определенного таланта или ремесла, и как мне удастся оставаться в живых – по преимуществу волшебство. Вот примерно и все – можете взять отсюда несколько строк, если нужно.

1959

[Энтони Линику]

6 марта 1959 г.

[...] Я бы решил, что многие наши поэты, которые честные, признаются, что манифеста у них нет. Это мучительное признание, но искусство поэзии обладает собственными силами, которые вовсе не нужно подразделять на критические списки. Я не хочу сказать, будто поэзия обязана пренебрегать условностями и быть безответственным паяцем, швыряющим слова в пустоту. Но само ощущение хорошего стихотворения обладает собственной причиной бытия. Я в курсе насчет Новой Критики и Новейшей Критики, а также школы мысли Голубая Гитара, английской школы, продвигаемой Пэрисом Лири, сильной образной школы «Эпоса», «Пламени» и т. д. и т. п., но все это предъявляет требования к стилю, манере и методу, а не к содержимому, хотя и тут у нас некоторые ограничения. Но в первую очередь Искусство – само себе оправдание, и оно либо Искусство, либо нечто иное. Это либо стих, либо кусок сыру.

«Манифест: вызов нашим критикам» был напечатан в «Номаде» 5/6 в 1960 г.

[Энтони Линику]

2 апреля 1959 г.

[...] Пока пишу, следует заметить, что очерк с «манифестом», который я отправил вчера (кажется), теперь не дает мне покоя. Хотя текста у меня под рукой сейчас нет, по-моему, я там употребил фразу «останемтесь же справедливы». В жаркой моей одинокой фатере это не давало мне уснуть (шлюхи отныне возлагают с менее замороженными дурнями). Полагаю, «будем же справедливы» правильнее. Или как? Есть в «Номаде» грамматисты? В молодости (ах чу, как летят года!) я получал двойки по английскому-I в старом милом Г. К. Л.-А. за то, что каждое утро в 7:30 приходил похмельным. Дело было не столько в похмелье, сколько в том, что занятия начинались в 7:00, обычно – с воодушевляющего вопля из Гилберта и Салливэна, что, я убежден, меня бы прикончило. По английскому-II я получал сплошь четверки и пятерки, поскольку преподавала его женщина, которая постоянно ловила меня за тем, что я пялился на ее ноги. Все это говорю к тому, что я не сильно-то, к черту, внимание обращал на грамматику, и когда пишу, делаю это из любви к слову, к краске, словно швыряю краску на холст, и многое пишу на слух, а также, поскольку там и тут кое-что почитывал, у меня все обычно выходит путем, но в техническом смысле я не понимаю, что происходит, да и без разницы оно мне. Будем справедливы. будем справедливы. Будем...

[Энтони Линику]

22 апреля 1959 г.

[...] Мне сейчас надо бежать, чтоб успеть к первому заезду. Спасибо, что смягчили удар по моей слабости грамматики, упомянув, что у некоторых ваших друзей по колледжу возникают трудности с построением фраз. Я думаю, некоторые писатели и впрямь страдают от той же участи, главным образом – потому, что в душе они бунтари, а грамматические правила, как и многие другие в нашем мире, призывают сбиваться в стадо и подтверждать то, чего естественный писатель инстинктивно сторонится, и, более того, интерес его лежит в более широком диапазоне тем и духа... Хемингуэй, Шервуд Эндерсон, Гертруд Стайн, Сароян – те немногие, кто перекраивал правила, особенно в пунктуации и течении и разрыве фразы. И, конечно же, гораздо дальше зашел Джеймс Джойс. Нас интересует цвет, форма, значение, *сила*... пигменты, оживляющие душу. Но у меня ощущение, что между не-грамматистом и неначитанным есть разница, и именно неначитанных и неподготовленных, тех, кто так спешит выплеснуться в печать, кто не достигает возраста крепкого и основного трамплина, я здесь упрекаю. И совершенно точно у школы «Кеньонского обозрения» здесь преимущество, хоть их по этому поводу и чересчур заносит, и творческая кромка у них притупляется.

Джеймс Бойер Мей редактировал и издавал «След», в нескольких номерах которого появились выдержки из переписки Буковски.

[Джеймсу Бойеру Мею]

Начало июня 1959 г.

[...] Что же до тех, кто как-то сомневается в моей психологической сноровке, я чувствую, что исходит это из непонимания моего поэтического намерения. Я не вырабатываю свои стихи прилежной силой воли – скорее опираюсь на случайное и слепое формулирование словес, на более текучий замысел в надежде на тропку поновее и поживее. Я действительно иногда персонализирую, но это лишь ради изящества и натиска танца.

О четырех стихотворениях Буковски, опубликованных в «Номаде»-1, неблагоприятно отозвался в своей рецензии, опубликованной в «Следе»-32, Уильям Дж. Ноубл (1959).

[Энтони Линику]

15 июля 1959 г.

Теперь между нами, мне бы хотелось заметить вам кое-что про Благородную Суку в «Следе»-32. Чего ради этот эльчи, этот консерватор из залов с иконами и трясунами, щипунами рондо и нюхателями лилей, чего ради этот шельмец взял и назначил себя особым кри-

тиком литературного дела, превыше того, с чем я способен разобраться в этом диспуте. Мне нужен антисептик помощней.

Все поле кипит литературными журналами, их огромная топь и котломойня для тех, кто не прочь продолжать нисхождение, будь они гностики, анютины глазки или бабули, держащие канареек и золотых рыбок. Меня бесит, почему эти реакционеры не довольствуются своей судьбою, почему они обязательно должны терзать нас своими душами с желтыми костяшками, высящимся кракеном своего божества. Мне определенно напыщенно наплевать на то, что они печатают в *своих* журналах: никаких подачек современному стиху я не прошу. Но они же пришли пререкаться к нам. Зачем? Потому что чуют жизнь и терпеть ее не могут, они хотят погрузить и нас в те же накипь и слюни, что поддерживали в них блажь деизма зачерствелого стиха 1890-х.

М-р Ноубл полагает, что я нагл и сексуален, когда говорю о том, как «возился с плоскими грудями». Нет ничего менее сексуального, хотя определенно есть вещи и не столь наглые. В этом трагедия поэзии и жизни, в этих плоских грудях, и те из нас, кто *живет* жизнь так же, как и пишет о ней, должны осознать, что, если мы загостимся с чувствами по этому поводу, с таким же успехом можно и не обращать внимания на паденье Рима, или игнорировать рак, или фортепианные произведения Шопена. И «метать кости с богом» будет примерно единственной оставшейся игрой, когда воздух услаждают лиловые сполохи, а горы разевают пасти и ревут, и великолепные ракеты сулят лишь посадку в преисподней.

Быть может, я неразборчив в перепереваривании м-ра Ноубла. Но его смятение из-за того, что не кажется сходством, вероятно, указывает на то, что себялюбие – в чем-то другом. Я проник в консервативные журналы с консервативными стихами, но не призывал их: «Приидите, делайте, как я вам повелел!» Я просто улыбался, думал, будто приземлился в стан неприятеля, заваливал их девок, игрался с грудями и плоскими, и аппетитно не-такими-уж-и-плоскими, и украдкой уматывал, без единой отметины, не угодив в клетку, по-прежнему алчный по натуре, самец, рычу и настоящий. Полагаю, это имел в виду м-р Ноубл, когда сказал, что «у м-ра Буковски есть талант». Очень любезно было с его стороны. И меня порадовали не-такие-плоские груди.

[Джеймсу Бойеру Мею]

13 декабря 1959 г.

Как-то вечером меня навестили редактор и писатель (Стэнли Макнейл из «Обозрения галерного паруса» и Альваро Кардона-Хайн), и то, что они застали меня в дезорганизованном и взъерошенном состоянии, никак не моя вина: визит их был внезапен, как водородная бомбардировка. Вопрос же у меня такой: становится ли писатель общественным достоянием, чтоб его по публикации шмонали без предупреждения, или же у него все равно остается право на личную жизнь как у гражданина налогоплательщика? Отвратительно ли будет сказать, что единственная евхаристия у многих художников – (по-прежнему) изоляция от чересчур быстро смыкающегося общества, или же это просто устарело?

Я не считаю ни педантичным, ни постыдным требовать свободы от опиата клановости и пиявочного братства, что господствуют во многих-многих наших так называемых авангардных изданиях.

...Что ж, редактор хотя бы пива со мною выпил, а вот писатель отказался напрочь – поэтому я пил за нас обоих. Мы обсуждали Вийона, Рембо и «Цветы зла» Бодлера. (Вечер казался очень французским, ибо оба моих посетителя очень старательно пользовались французским названием произведений Б.) Кроме того, мы обсуждали Дж. Б. Мея, Хедли, Путса,

Кардону-Хайна и Чарльза Буковски. Мы оспаривали, злословили и окружали. Наконец утомившись, редактор и писатель поднялись. Я солгал, сказал, что приятно было их видеть, желтофиоли и черный паслен, буравчики и живчики, ласковый луч Люцифера. Они ушли, а я щелкнул еще одним пивом, замордованный распушенностью современного американского редакционизма... Если это писательство, если это поэзия, я прошу глистогонного: за 20 лет писанины я заработал \$47, и мне кажется, что \$2 в год (опуская марки, бумагу, конверты, ленты, разводы и пишущие машинки) заслужили человеку особую уединенность особого безумия, и если мне вдруг понадобится подержаться за ручку с бумажными богами ради укрепления цинготной рифмочки, я соглашусь на оукливание и рай отказа.

[Джеймсу Бойеру Мею]

29 декабря 1959 г.

[...] Я часто становился на позицию изоляционизма, дескать, значение имеет только одно: создание стихотворения, чистая форма искусства. Каков у меня характер или в скольких тюрьмах я парился, или в палатах, или застенках, или пирушках, от скольких поэтических читок для одиноких сердец я увернулся, все это не по существу. Душа человека либо ее отсутствие будет видна по тому, что он сумеет высечь на белом листе бумаги. И если я вижу больше поэзии на отрезке Санта-Аниты или пьяным под банановым деревом, нежели в дымной комнате лавандового рифмежа, это мое дело, и лишь времени судить, какой климат годился лучше, а не какому-нибудь ослу, второсортному редактору, кто боится счета от типографа, старается нажиться на подписках и лестью выманивает работы в номер. Если мальчики пытаются сколотить миллион, на это всегда есть рынок, одинокие вдовушки с подходом Джона Диллинджера.

Так пусть же мы не поймем однажды, что у Диллинджера поэзия была лучше нашей и что «Кеньонское обозрение» было право. Сейчас вот, под бананом, я уже вижу воробьев там, где раньше видел ястребов, и песенка их мне не больно-то горька.

1960

[Джеймсу Бойеру Мею]

2 января 1960 г.

[...] да, все «малыши» – это безответственная шайка (по большинству), управляемая молодыми людьми, воодушевленными своим школьным пылом, они действительно надеются сшибить на этом деньгу, начиная с пламенных идеалов и больших идей, длинных отказов и усыхая, и вот уж рукописи громоздятся кипами за диваном или в чулане, некоторые теряются навсегда и остаются без ответа, и наконец выпускается скрепленная сляпанная скверная подборка типографски испорченных стишков, после чего женитьба и исчезновение со сцены с каким-нибудь замечанием вроде «мало поддерживали». Мало поддерживали? Да кто *они*, к черту, такие, чтоб их поддерживать? Что они сделали, кроме того, что замаскировались за фасадом Искусства, придумали название для журнала, внесли его в списки и ждали материала все от тех же самых 2 или 3 сотен затасканных имен, какие, похоже, считают себя поэтами Америки, потому что какой-то 22-летний обормот с бонгами и лишней 50-долларовой бумажкой воспринимает их худшую поэзию.

[Гаю Оуэну]

Начало марта 1960 г.

Можно быть «консерватором» и при этом все равно публиковать хорошую поэзию. У столького «современного» есть твердый панцирь крикливости, какую умеют создавать молодые люди без своей истории или чувства (см. «Катафалк»). Во всех школах есть фальшивые поэты – те, кому там просто не место. Но они в итоге исчезают, потому что их вместе с чем-то другим поглощают силы жизни. Большинство поэтов молоды просто потому, что их еще не нагнали. Покажите мне старого поэта, и я вам покажу – чаще, чем нет, – либо безумца, либо мастера. И, полагаю, художники тоже. Тут я несколько сомневаюсь, и, хотя картины я пишу, это не моя область. Но, полагаю, тут похоже, и я вспоминаю про старого уборщика-француза в одном из последних мест, где я работал по найму. Уборщик на полставки, согбенный, пьющий. Я узнал, что он пишет картины. Писал он по математической формуле, по философскому вычислению жизни. Перед тем как рисовать, он ее записал. Гигантский план, и он по нему наносил краску. Рассказывал о беседах с Пикассо. А меня смехом разбирало. Вот мы такие, экспедитор и уборщик, обсуждаем теории эстетики, а люди вокруг зашибают в 10 раз больше нашего жалованья, мы же изо всех сил тужимся, стараясь дотянуться до гнилого фрукта. Что это говорит нам об американском образе жизни?

[Джону Э. Уэббу]

29 августа 1960 г.

[...] Если же вам нужна биография... можете просеять ее из вот этой мешанины. Родился 8–16–20, Андернах, Германия, по-немецки ни слова не говорю, английский тоже скверный. Редакторы говорят, чего это ты, Буковски, не можешь ни писать, ни печатать правильно, одной и той же лентой пользуешься. Ну, они же не знают, что лента перепуталась с моей пуповиной, а я с тех пор пытаюсь вернуться к матери. А писать без ошибок мне просто не нравится... Я считаю, что слова – орудийная мощь посильней, если пишутся неправильно. В общем, я уже старик. 40. Больше замешан со строительным раствором вопля и головокружительными горестями, чем в 14, и старик драл жопу под разнообразные классические мелодии. О чем бишь мы? Дайте-ка я снова опрокину в себя это пиво... сегодня утром весточка от «Мишеней». Взяли 6 стихотворений в декабрьский номер... «Конь в огне», «Протащи меня сквозь храмы» и другую дрянь. Еще одно стихотворение, «Японская жена», для сент. номера. Это мило и даст мне прожить на 3 или 4 недели дольше. Я об этом упоминаю, потому что по-своему счастлив и пью теперь пиво. Дело тут не столько в славе от публикации, скорее в хорошем ощущении, что ты, быть может, не спятил и кое-что из того, что говоришь, люди понимают. Пиво это до черта хорошее, глядя в солнечное окно, хо, хо, никаких чертовых женщин рядом, никаких коротконосых лошадок, никакого рака, никакой гнили сифака, как у Рембо или Де-Мэсса, лишь цветы апельсина без пчел и гниющая калиф. трава над гниющими калиф. костями. Так, погодите. Еще пиво открою. Еду на 3 или 4 дня в Дель-Мар и раздобуду денег на жилье, вычислил новый шифр для коротконосых.

Начнем другой абзац. Гер [труд] Стайн так бы мне посоветовала. Но эта Гер Ст. – что-то с чем-то. Мы-то по-своему нормальны, только некоторым помогают пчелы, боги, луны и тигры, зевающие в громадных темных пещерах, полных Серг [ея] Рахманинова и Сезара Франка, а также снимков того, как [Олдос] Хаксли беседует с [Д. Х.] Лоренсом над пролитым вином. Черт бы драл: био, био, био... Терпеть не могу себя, но нужно продолжать. Это треп-книжка, ну, господи, не знаю, как-то вечером был пьян и врезал старику, 17, двинул прочь из города. Он не дал сдачи, и мне от этого стало противно, потому что это ж у меня внутри... пилился снизу вверх с дивана, слабый трус. Я объездил все эти поганые С. штаты, работал за так, чтоб у других было хоть что-то. Я не комми, я ничего политического, но расклад это паршивый. Работал на бойне, на фабрике собачьих галет, у Ди Пинны в Майами-бич, рассыльным в нью-орлеанском «Пункте», в банке крови во Фриско, расклеивал афиши в подземках Нью-Йорка в 40 футах под небом, пьяный скакал через прекрасные третьи рельсы, хлопок в Бердо, помидоры; экспедитор, водитель грузовика, дежурный игрок на скачках, держатель барных табуретов по всей тупой нации будильников, меня содержали трущобные шлюхи; десятник американской новостийной ко., Нью-Йорк, складской рабочий «Сиэрз-Роубака», служитель на заправке, почтальон... Всего и не упомяну, там все довольно унылое и обычное, и любой, кого увидишь рядом в очереди безработных, занимался тем же самым. [...]

О чем бишь мы??? Господи. В общем, при всем при этом я написал стих или 2, напечатался в «Матрице», а потом утратил интерес к поэзии. Взялся ебаться с рассказом. Кстати, получил письмо от [Эвелин] Торн, которая печатает много моей более причудливой и классической поэзии, – хо бля, да я могу писать как угодно, никуда я не гожусь – материт меня за матершинину. Погодите-ка. Так. Рассказ. Уит Бёрнетт в старом журнале «Рассказ» напечатал мой первый в 1944-м. Я был 24-летний пацан тогда, жил в Гринвич-Виллидж и в первый же день понял, что Деревня сдохла, одна вывеска, что некогда здесь кто-то был. Бля, ну и

насмешка. Получил письмо от агентессы, та звала меня пообедать и выпить... хочет-де со мной поговорить и поагентировать мою писанину. Сказал ей, что не могу с нею встретиться, не готов, писать не могу и до свиданья, у меня своя выпивка под кроватью в виде бутылки вина. Оказался у Отца Божественного в 6 утра, пьяный, в комнату к себе меня не пустили, замерзал на улице в рубашке с коротким рукавом. Вы ж не о биографии меня спрашивали, правда, Уэбб? На самом деле, какого черта, вы ж у меня даже не приняли ни одного маво стишка?

В общем, так или иначе, по рассказу то тут, то там принимали не слишком много. Авиапочтой отправлял в «Атлантический ежемесячник», а если не принимали, рвал. Не знаю, сколько тысяч шедевров я так порвал. За ничего. Разные люди по пути пытались убедить меня сделать роман. Нахуй их. Я б и Хрущеву роман писать не стал. На какое-то время про все забыл, 10, 15 лет не писал. Не прошел Християтра, чтоб попасть в Армию. Хорошее ощущение. Надел трусы задом наперед, но не специально после 4 недель запоя. Они сачли, что я псих, чокнутые суйкинадети!

В общем, слышите, Уэгг, то есть Уэбб, я сейчас еще пивом закинусь. Мне вот интересно, как вы 21 день без выпивки, этому пора положить КОНЕЦ. Однажды я оказался в благотворительной палате общей больницы... кровиха у меня из жопы и рта хлестала фонтаном... меня там бросили валяться на 2 дня перед тем, как вообще до меня добрались, потом сообразили, что у меня могут быть связи с преступным миром, и вкачали в меня 7 пинт крови и 8 пинт глюкозы без передыху. Сказали, что если опять выпью, то сдохну. 13 дней спустя я водил грузовик, ворочал 50-фунтовые свертки и бухал дешевое вино, сплошь сера. Они промахнулись: я *хотел* сдохнуть. И как это пережили некоторые самоубийцы: человеческий каркас *может* оказаться прочнее стали.

Так минуточку Уэбб чё бишь мы?

В общем, я вылез из этого потемнения 10, 15 лет пьянства, блядства, ужаса, каштанов в простынях, каштановой скорлупы, мыши прыгают как ракеты по комнатам на 3 недели квартплату задерживаю через сны с бодуна, позеленевшая картошка, лиловый хлеб, любовь жирных серых женщин, от которых рыдаешь, их крупные картошные пуза и сухая любовь и четки под подушкой и снимки детей нечистых... ни от чего мужчине себя не ощутить дикарем и дерзким, потому что он просто хочет удавиться. Женщины были лучше нас. Все до последней. Шлюх не бывает. Меня грабили, били по башке и портили вместе с ними всеми, и я говорю – блядей не бывает. Женщины так не сложены. Так сложены мужчины. Само понятие – блядство. Я такой был. И до сих пор. Но продолжим.

В общем, десять или 15 лет спустя я снова начал писать... в 35, но на сей раз из меня полезла сплошь ПОЭЗИЯ. Что за херня? Я это так рассматривал – тут экономятся слова... Гер. бы это понравилось, хучь я и трачу тут чересчур много слов, но уверен, меня простят... потому что кто-то завел свою газонокосилку и БЫРРРР ЦЕЛКВРРЫРР, это ничего, когда внутрь льется солнце и что-то играет по радио... Не знаю, что... может, слышал раз или 2жды, так устал от того же самого... Бетховен, Брамс, Бах, Чайковский и т. д...

В общем, я выступил с маленьким стишком, потому что мне понравилось, да и вышло вроде ничего. Теперь я что-то подустал и не вполне понимаю что.

В общем, публиковался тут и там, в ящике полно маленьких журналов, где должны лежать рубашки.

Хотелось бы сказать, что у меня есть или *были* какие-то боги – Эзра П. перед тем, как я начал переписку с бывшей любовницей [Шери Мартинелли]... По-прежнему есть, однако, [Робинсон] Джефферс. Элиот мне казался оппортунистом, шел туда, где самые увертливые боги дарили самые тихие дары, что очень здорово и иноверчески, но не по-человечески, и рев крови или какой-нибудь бродяга, подыхающий в трущобах в одном исподнем, которое не стирали 4 недели. Я не то чтоб лупил по Элиоту, я луплю по образованию и его фальшивым

зубам. Я мог бы и могу получить больше знаний о жизни, поговорив с мусорщиком, а не с Т. С., либо вообще-то с вами, Джон Э. У. О чем бишь мы? [...]

Слышите, Джон, надеюсь, вы сможете отыскать стишок. Где-нибудь среди чертовых песенок... Ненаю, устал я... люди везде поливают газоны... нормально устроились. В общем, слышите, это была биография.

ручку потерял,

давайте ошарашим их алькатрасской бредятиной...

Стефаниле опубликовал стихотворение Буковски в «Воробье»-14 (1960).

[Феликсу Стефаниле]

19 сентября 1960 г.

Никакой я не «книжный червь или цаца»...

Ваша критика верна: предложенное стихотворение было рыхло, небрежно, много повторов, но вот в чем суть: я не могу РАБОТАТЬ над стихом. Слишком многие поэты слишком старательно трудятся над своей писаниной, и когда видишь их работу в печати, они, похоже, говорят... смотри, старик, да ты глянь только на это ПРОИЗВЕДЕНИЕ. Я мог бы даже сказать, что стих *не должен быть* стихом, а скорее куском чего-то такого, что вышло правильно. Я не верю в технику, школы или цац... Я верю в хватание за шторы, как пьяный монах... и срывание их прочь, прочь, прочь...

Надеюсь вновь предложить вам что-нибудь, и уж поверьте мне, я гораздо больше ценю критику, чем «извините», или «нет», или «портфель полон».

[Джону Уэббу]

Конец сентября 1960 г.

[...] Кроме того, сегодня получил вашу новую карточку, должен с вами согласиться, что можно заболтать и поэзию, и саму свою жизнь, а я больше получаю от того, что бываю с людьми – если приходится, – которые не слыхали о Дилане, или Шейке, или Прусте, или Бахе, или Пикассо, или Ремб., или цветковых кругах, или чем еще. Я знаю парочку бойцов (одного с 8 победами подряд), игрока-другого на бегах, нескольких шлюх, бывш-шлюх и алкоголиков; но поэты скверно воздействуют на пищеварение и чувствительность, и я б мог выразиться крепче, но они опять же, вероятно, лучше, чем я их выставяю, да и во мне самом много чего не так. [...]

Согласен с вами насчет «поэтической поэзии» и вполне чувствую, что почти вся написанная поэзия, прошлая и нынешняя, неудачна, поскольку намеренье, дух и акцент ее – не резьба, как по камню, или как съесть хороший сэндвич или выпить хорошей выпивки, а скорее точно кто-нибудь говорит: «Смотри, я написал стихотворение... глянь на мое СТИХОТВОРЕНИЕ!»

[У. Л. Гарнеру]

9 ноября 1960 г.

[...] Полагаю, что слишком много поэзии пишется как «поэзия», а не как воззрение. Под этим я имею в виду, что мы уж чересчур стараемся, чтобы это всё *звучало* как стихи. Ницше же сказал, когда его спросили о поэтах: «Поэты? Поэты чересчур много врут!» Поэтическая форма по традиции позволяет нам говорить много в малом объеме, но большинство нас говорит *больше*, чем мы чувствуем, или когда нам не хватает способности видеть или вырезать, мы подменяем поэтическое выражение, в котором слово ЗВЕЗДА есть набоб и главный душеприказчик.

[Джону Уэббу]

11 декабря 1960 г.

[...] Вы мне давно как-то сказали, что отказываете «именам» направо и налево. Похоже, стало быть, что вы отбираете то, что вам нравится, и лишь это любой редактор в силах сделать. Я однажды был редактором «Арлекина», и у меня есть представление о том, что попадает в смысле поэзии – сколько скверно написанной любительской неоригинальной претенциозной поэзии приходит почтой. Если печатать «имена» означает печатание хорошей поэзии... тогда дело не-имен писать поэзию до того хорошую, чтобы пролезть. Просто отвергать «имена» и печатать 2-сортн. поэзию неизвестных... этого они хотят?.. разновидность новой неполноценности? Выбросить ли нам Бетховена и Ван Гога ради музыкальных попевок или мазни дамы через дорогу лишь потому, что ее имени никто не знает? Пока я был в «Арлекине», мы сумели напечатать только ОДНОГО ранее не издававшегося поэта, 19-летнего мальчишку из Бруклина, если я верно помню. И то... лишь отрезав целые куски от 3 или 4 стихотворений, которые он прислал. А после этого он уже никогда больше не слал нам ничего хоть отчасти стоящего. И письма мы тоже получали, огорченные письма с жалобами и от известных, и от неизвестных. Я по полночи не спал, писал 2- или 3-страничные отказы, почему я чувствую, что эти стихи не годятся – вместо того чтоб написать «извините, нет» или заполнить отпечатанный бланк отказа. Но недосыпал я зря; столько стихов не написал, а надо было; столько пьянств, пьес, скачек пропустил, а не стоило; оперы, симфонии... потому что ничего больше не получил за СТАРАНЬЯ свои, за попытки быть порядочным, теплым и открытым... кроме рыкающих горьких писем, сплошь проклятья, тщеславье и война. Я б не отказался от крепкого анализа своих недостатков – но посланья, в которых хнычут и рычат, – нет, к черту, нет. Очень странно, думал я, как люди могут быть такими конченными «говнюками» (пользуясь одним из их определений) и при этом сочинять поэзию. Но теперь, познакомившись с несколькими, я знаю, что это совершенно возможно. И я не о чистом бое, не о бунтаре, не о мужестве; я про скудоумных рвачей славы, сбрендивших по деньгам, духовных карлика.

В «Коне в огне», опубликованном в «Мишенях» 4 в 1960 г., Буковски ругает «Кантос» Паунда.

[У. Л. Гарнеру и Ллойд Алпоу]

Конец декабря 1960 г.

[...] Старина Эз [ра Паунд], вероятно, зубы себе выплюнет, когда прочтет «Коня в огне», но даже великие иногда могут жить в заблуждении, и нам, мелким, остается исправлять их застольные манеры. И Шери Мартинелли взвояет, но чего ж они тогда рыдали над своей драгоценной канто, а потом мне об этом рассказали? Я человек опасный, если нас с пишущей машинкой на волю выпустить.

1961

[Джону Уэббу]

Конец января 1961 г.

[...] Как начинаешь врать себе в стихотворении просто для того, чтобы *сделать* стих, тут-то и пиши пропало. Поэтому я не перерабатываю стихов, а отпускаю их с первого раза, потому что, если я первоначально соврал, незачем вгонять костыли по шляпку, а если я не врал, ну так, черт, и волноваться тут нечего. Я могу читать какие-то стихи и просто чувствовать, как их строгают, клепают и драили. Теперь такой поэзии много идет из «Поэзии» Чикаго. Листаешь страницы, а там одни бабочки, почти что бескровные мотыльки. На самом деле я поражаюсь, когда просматриваю этот журнал, – оттого, что ничего не происходит. И, по-моему, такое они и считают стихом. Скажем, что-то не происходит. Аккуратно уложенное в строчки нечто, такое тонкое, что его даже не ощущаешь. От этого все и выглядит смышленным искусством. Чушь! В хорошем искусстве смышлено лишь одно – если оно встряхивает в тебе жизнь, а иначе это вздор, а отчего это вздор – да в «Поэзии» Ши? Это вы мне скажите.

В 1956-м, когда я впервые начал писать поэзию в преклонные свои 35, выхаркнув желудок через рот и жопу, и мне хватило ума больше не пить виски, хоть одна дама и утверждала, будто я шатался у нее по квартире в прошлую пятницу, распивая портвейн, – в 1956-м я отправил в «Эксперимент» горсть стихов, что (которые) они приняли, а теперь, 5 лет спустя, они мне говорят, что одно опубликуют, и это замедленная реакция, если я какую и видал. Мне говорят, что в свет выйдет в июне 1961-го, и, наверно, когда я его прочту, оно будет как эпитафия. И потом она мне предложила выслать ей десять долларов и вступить в «Группу Эксперимент». Естественно, я отказался. Боже, сегодня на Вместе в средних заездах я б от лишней десятки анусом дикси свистал.

Коррингтон мне говорит, что считает, будто у Корсо и Ферлингетти это есть. Я не настолько хорошо начитан, как следовало бы. Но мне кажется, что в современном поэте должен быть поток современной жизни, и мы теперь уже не можем писать, как Фрост, или Паунд, или Каммингс, или Оден, они уже, кажется, немного сошли с дорожки, как будто с шага сбились. По моему мнению, Фрост всегда не в ногу шел, и ему с рук сходило много белиберды. И еще бы, его разукрасили, как дохлый манекен в снегу, и дали болботать сквозь его умирающее зрение и прозрение на инаугурации. И впрямь очень прекрасно. А еще немного такого же – и я попробую поискать членскую карточку Коммунистической партии, или старую черную нарукавную повязку, или какого-нибудь педика, чтоб отмотал меня, как ему только понравится. Надеюсь, я никогда не состарюсь так, чтоб больше не помнить, но, конечно же, Фрост всегда ставил на фаворита, и если ему даже нравились рискованные ставки 60 к одному, он об этом помалкивал. [...]

Было время в Атланте, когда я еле видел конец электропровода – он был обрезан, а лампочки там не было, а я сидел в бумажной хибаре за мостом – квартплата один доллар и 25 центов в неделю – и холод стоял, а я пытался писать, но в основном мне хотелось чего-нибудь выпить, а мое калифорнийское солнышко очень и очень далеко, и я думал, ну, черт, хоть немного согреюсь, и дотянулся, и схватился рукой за провода, но они мертвые были, и я вышел наружу, и встал под замерзшим деревом, и принялся смотреть сквозь теплое обледенелое стекло в окне, как какой-то бакалейщик продает какой-то женщине буханку хлеба,

и они стояли десять минут и болтали ни о чем, а я за ними наблюдал и сказал себе: клянусь, клянусь, ну его все к *черту!*, и поднял взгляд на замерзшее белое дерево, и его ветки никуда не показывали, только в небо, которое не знало, как меня зовут, и оно мне тогда сказала: я тебя не знаю и ты ничто. И как же я это чувствовал. Если есть какие-то боги, их дело – не мучить и не испытывать нас, чтоб убедиться, что мы годимся для будущего, а делать нам какое-нибудь бого-клятое бого-добро в настоящем. Будущее – лишь скверная догадка; это нам еще Шекспир сказал – иначе мы все б туда полетели. Но лишь когда человек доходит до того рубежа, когда дуло пистолета в рот, тогда он видит у себя в голове целый мир. Что угодно другое – домыслы, домыслы и херня на постном масле, и брошюрки.

[Джону Уэббу]

25 марта 1961 г.

[...] меня беспокоит, когда я читаю про старые парижские группы, или кого-то, кто знал кого-то в старину. Они, значит, тоже этим занимались, стародавние и нынешние имена. Думаю, Хемингуэй сейчас об этом книгу пишет. Но, несмотря на все, мне в это слабо верится. Терпеть не могу писателей или редакторов, или кого угодно, кто желает говорить об Искусстве. 3 года я жил в трущобной ночлежке – еще до кровотечения – и каждый вечер напивался с бывшим зэком, горничной, индейцем, девкой, которая будто носила парик, но не носила, и 3 или 4 бродягами. Никто из них Шостаковича от Шелли Уинтерз отличить не мог, и нам было плевать. Главное было отправлять гонцов за бухлом, когда у нас пересыхало. Начинали мы с нижнего конца очереди, где у нас худший бегун, и если ему не удавалось – а надо понимать, почти все время денег у нас было мало или вовсе нисколько, – мы немного заглублялись до следующего лучшего. Наверно, это хвастовство, но лучшим гончим был я. И когда последний, шатаясь, вваливался в дверь, бледный и пристыженный, с инвективной на устах подымался Буковски, облачался в свою драную накидку и с гневом и уверенностью шагал в ночь, в «Винную лавку Дика», и я его разводил, и принуждал, и отжимал его насухо, пока у него голова кругом не шла; я входил с великим гневом, не побираясь, и просил того, что мне требовалось. Дик никогда не знал, есть у меня деньги или нет. Иногда я его обводил вокруг пальца – деньги у меня были. Но почти все остальное время их не было. Но так или иначе, он выставлял передо мной бутылки, паковал их, и я их забирал с гневным: «Запиши на мой счет!»

И тогда он начинал старую пляску – но господи ты бож мой, ты мне и так уже стока и стока должен, а ты не платил уже месяц и...

И тут наступало ДЕЯНИЕ ИСКУССТВА. Бутылки у меня в руке. Ничего б не стоило просто взять и выйти. Но я хлопал их снова перед ним, выдирал их из пакета и совал ему, говоря: «На, ты вот этого *хочешь!* А я за своими чертовыми покупками в другое место пойду!»

«Нет-нет, – говорил он, – забирай. Все в порядке».

И тогда он доставал жалкий свой клок бумаги и добавлял к общей сумме.

«Дай-ка погляжу», – требовал я.

И после этого говорил: «Да ради ж бога! Я же тебе не *столько* должен! А вот этот пункт тут откуда?»

И все это ради того, чтобы он поверил, будто я ему когда-нибудь заплачу. И после этого старался меня развести в ответ: «Ты человек чести. Ты не такой, как другие. Тебе я доверяю».

Наконец ему осточертело, и он продал свою лавку, а когда возник следующий хозяин, я открыл себе новый кредит...

И что произошло? В восемь часов одним субботним утром – В ВОСЕМЬ УТРА!!! чрт бы его драл – в двери стучат – и я открываю, а там стоит редактор. «Э, я такой-то и такой-то, редактор того и сего, мы получили ваш рассказ, и я счел его крайне необычным; мы намерены дать его в весенний номер». «Ну, заходите, – пришлось мне сказать, – только о бутылки не споткнитесь». И вот сидел я, пока он мне рассказывал про свою жену, которая о нем очень высокого мнения, и о его рассказе, что когда-то напечатали в «Атлантическом ежемесячнике», и вы сами знаете, как они говорят и не затыкаются. Наконец он ушел, и через месяц или около того зазвонил телефон в коридоре, и там кому-то понадобился Буковски, и на сей раз женский голос произнес: «М-р Буковски, мы считаем, что у вас очень необычный рассказ, и группа его обсудила тут недавно вечером, но мы считаем, что в нем есть один недостаток, и мы подумали, может, вы захотите этот недостаток устранить. ПОЧЕМУ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ВООБЩЕ НАЧАЛ ПИТЬ?»

Я сказал: «Ну его вообще, возвращайте мне рассказ» – и повесил трубку.

Когда я вернулся, индеец посмотрел на меня из-за стакана и спросил: «Кто это был?»

Я сказал: «Никто», – и точнее ответа я бы дать не мог.

[Джону Уильяму Коррингтону]

21 апреля 1961 г.

Очевидно, что многие наши нынешние редакторы по-прежнему работают по учебнику, по правилам того, что им предшествовало. Святилище правила для чистого творца не значит ничего. Скверное творение оправдывают, если нас размывает от камуфляжа или вина, что льется из пьящихся глаз, но ничем не оправдать творенье, изувеченное указками школы и моды либо мнительного молитвенника, утверждающего: форма, форма, форма!! суй в клетку!

Позволим себе простор и ошибку, истерию и скорбь. Давайте не будем сглаживать углы, пока у нас не возникнет шар, что укатывается прочь, будто в ловком фокусе. Всякое бывает – попа в сортире пристрелят; шершни жалятся героинком без ареста; записывают твой номер; твоя жена сбегает с идиотом, который никогда не читал Кафку; раздавленная кошка, кишками ее череп приклеен к мостовой, а машины много часов едут мимо; цветы в дыму растут; дети умирают в 9 и 97; с сеток давят мух... история *формы* очевидна. Я последним стану утверждать, будто мы можем начать с нуля, но давайте уже выберемся с 8 или 9 и переместимся повыше, к 11. Можем и дальше твердить – чем и занимались – про то, что есть правда, и делали мы это, я полагаю, совсем неплохо. Но мне бы хотелось видеть, как мы орем немножко истеричнее – если в нас хватает мужского на это – и о неправде, и о несформованном, и том, что не сформируется никогда. Вот честно, мы обязаны давать свече гореть – лить на нее бензин, если необходимо. Ощущение обычного всегда обычно, но есть и вопли из окон... художественная истерия, порожденная дыханьем в некрополе... иногда, если музыка стихает и оставляет нам 4 стены из резины, стекла или камня, или хуже – вообще без стен, – мы бедные и замерзаем в Атланте сердца. Сосредоточиться на форме и логике, «обороте фразы» кажется имбецильностью посреди безумия.

Не могу вам сказать, сколько прилежных мальчиков потрошит меня догола своими спланированными и разработанными твореньями. Творение – наш дар, и мы им больны. Оно плескалось у меня в костях и будило меня паяться на стены в 5 часов утра. А размышление ведет к безумию, как собака с тряпичной куклой в пустом доме. Гляди, говорит голос, в ужас и за него – мыс Кэнэверэл, мыс Кэнэверэл ничего нам не предъявит. черт, джек, да это время поумнеть: мы вынуждены настаивать на камуфляже, они нас этому научили – боги кашляли

живьем сквозь неразличимый дым стиха. Смотри, говорит другой голос, мы должны вырезать из свежего мрамора... Какая разница, говорит третий, какая тут разница? светло-желтых мамашек уж нет, подвязка на ноге подтянута повыше; очарование 18 – это 80, а поцелуи – змеи, юлящие жидким серебром, – поцелуи прекратились. ни один человек долго не живет волшебством... покуда однажды утром в 5 оно тебя не ловит; зажигаешь огонь, наливаешь поспешной выпивки, а душа ползает, как мышка в пустой кладовке. будь ты Греко или даже обыкновенный ужик, что-то можно было бы сделать.

еще выпью. ну, потри руки и докажи, что ты жив. серьезность не годится. мечись по комнате.

это дар, это дар...

Разумеется, прелесть умиранья – в том, что ничего не потеряно.

[Хилде Дулиттл]

29 июня 1961 г.

Узнал от Шери М., что вы очень больны. Для большинства из нас вы почти легенда. Прочел ваш последний сборник поэзии («Вечнозеленое»). Надеюсь, не покажусь дурнем, если пожелаю вам всего хорошего и напишу вам еще.

С любовью,

[Джону Уэббу]

Конец июля 1961 г.

[...] Слышал, как однажды вечером тут некоторые мои стихи читали по радио. Я б об этом и не узнал, но [Джори] Шёрмен, который за таким следит, сообщил мне по телефону, поэтому я напился и послушал. Очень странно слышать, как к тебе твои же слова возвращаются через динамик радио, который тебе новости излагал, пробки на трассе, играл Бетховена и профессиональные футбольные матчи. Одно стихотворение, первое из 15, было о розах из «Изгоев». Кроме того, читали части моих писем касаясь редакторов и поэтических читок и критиков или чего-то вроде, и публика там время от времени смеялась, как и парочка стихов, поэтому мне не так уж скверно было, но когда я встал себе еще за пивом, наступил на 3-дюймовый осколок на полу (у меня кавардак), и стекло вонзилось мне прямо в пятку, и я его выдернул и пару часов истекал кровью. Хромал потом неделю, а однажды проснулся весь в поту, в жару, блевал... некоторое время думал, это с похмела, но потом решил, что все же нет, и поехал на Голливуд-блвр к какому-то доктору Лэндерзу, сделать укол. Вернулся, открыл пиво и тут же наступил на другой осколок.

Господи, я прочел в «Изгоев», что ранний [Генри] Миллер печатал свои работы под копирку и рассылал разным людям. Для меня такое немыслимо, но, предположим, Миллер думал, что ему ничё не светит, поэтому пробиваться ему придется самостоятельно. Видимо, каждый на это по-разному наваливается. Хотя я вижу, где «Гроув» издали его «Тропик», и теперь это безопасно, хотя в большинстве мест довольно-таки сдувается. Кроме того, заметьте, что журнал «Жизнь» и дал Хем. по жопе довольно неплохо. Чего он заслуживал, ибо вполне себе продался после ранних своих работ, что я всегда знал, но ни разу не слышал, чтоб об этом кто-то говорил, пока он не покончил с собой. Зачем они дожидались?

Фолкнер, по сути, очень похож на Хема. Публика заглотила его одним огромным куском, а критики кое с чем чуть потоньше, чувствуют себя в безопасности и подначивают их, но у Фолкнера много чистого дерьма, хотя дерьмо это умное, умно разряженное, и когда он прет, им трудно его стереть, потому что они его не вполне понимают, а не понимая его, скучные и пустые куски, прорву курсива, они считают, будто это означает гениальность.

[Джону Уильяму Коррингтону]

Конец августа 1961 г.

[...] Как вам известно, я очень небрежен. Я не храню копирочные копии. Того, что вышло и принято, копий у меня нет. Того, что вышло и не вернулось, копий у меня нет. Иногда нахожу обрывок бумаги, на котором что-то написано или напечатано на машинке, но я не знаю, приняли его или отправлял ли я его вообще. Я даже потерял тот листок, что был у меня когда-то, где говорилось, куда я посылал некоторые стихи или где некоторые приняли, но как назывались эти стихи, я не знал. А теперь и бумажку потерял. У меня однажды была жена [Барбара Фрай], которая меня очень изумляла. Она писала стихотворение и отправляла его, записывала, как оно называется, дату, куда отправлено... У нее была большая бухгалтерская книга, очень красивая штука, и в ней – список журналов, и этот список журналов, исчерканный спиралями или синими линиями поверх оранжевых или как-то, и она рисовала звездочки ****, которые все это оплетали воедино. Чертовски красивая штука просто. Она могла прогнать одно стихотворение через 20 или 30 журналов, просто ***** и ни разу не отправила ничего в один журнал дважды, ура. У нее и для меня была такая книга, но я в своей рисовал неприличные картинки и всякое. И когда она выделяла стихотворение, каждое, что она сочиняла, снова перепечатывалось на особой бумаге, а потом клеивалось в тетрадку (с датой). Мне б такая сноровка не помешала, но вот правда, мне кажется, я б от этого слишком уж чересчур себя чувствовал так, будто торгую облегающими лифчиками вразнос.

1962

[Джону Уильяму Коррингтону]

Апрель 1962 г.

[...] Фрай однажды подначила меня сделать пачку карикатур с подписями, как бы шуток таких, и я не спал всю ночь, пил и рисовал эти карикатуры, смеясь над собственным безумием. К утру их было так много, что все в конверт не помещались, ни один по размеру не подходил, поэтому я склеил из картона здоровенную такую штуку и все это отправил то ли в «Нью-Йоркер», то ли в «Эсквайр», внутрь вложил другую такую же картонную штуку с соответствующими марками. Ну и, черт, им, вероятно, стало видно, что я либо любитель, либо чокнутый. Они ко мне так и не вернулись. Я написал про свои 45 карикатур, и они не вернулись. «Ничего подобного от вас не получ.» – написал мне в ответ какой-то редактор. Но, сидя в парикмахерской пару месяцев спустя, я наткнулся на одну мою шутку в каком-то журнальце, я полагаю – «Мужчина», на ней показан парень, жокей, нахлестывает лошадь таким вот круглым ядром с шипами, на цепи, а другой парень у барьера говорит третьему: «Он мальчишка очень грубый, но отчего-то добивается результатов». Слова там немного поменяли и рисунок изменили, но картинка в точности казалась моей. Ну, черт, можете вообразить что угодно, если хочется вообразать что угодно. Но я не знаю, я даже не смотрел, обычно я даже не заглядываю в журналы, а может, и да, только этого не сознаю, но я все время наткался на те же самые мои задумки и рисунки, только чуть измененные; все это было слишком уж близко, все слишком уж то же самое, чтоб оказаться не моим, только, чувствовал я, мои лучше приведены в исполнение, я не в смысле приговора, убили их они. А когда я наткнулся на один из своих самых крупных рисунков без подписи (в смысле – идею рисунка, сам он был не мой) прямо на ОБЛОЖКЕ «НЬЮ-ЙОРКЕРА», тогда-то я и понял, вот оно – там та же самая чертовня была: крупное озеро лунной ночью и те самые десятки каноэ, в которых полно мужчин и женщин, и в каждом мужчина играет на гитаре и поет своей женщине серенады – только в одной лодке в самой середине озера парень в каноэ стоит и дует в такую огромную трубу. Я забыл, рисовал я ему в каноэ девку или нет, нврн., рисовал, но я теперь старше и вижу, что без шмары смешнее было б. В общем, все это пошло насмарку, и карикатур я больше не делал, покуда Бен Тиббз не проебал то, что должно было стать обложкой к «Рисковым стишкам», и я сказал [Карлу] Ларсену хосподи да я наверно и получше нарисую. Я в том смысле, что, как и с карикатурами, с романом, я не знаю механики, как это делать, и не хочу тратить много слов, делая все шиворот-навыворот, что какой-нибудь лизоблюд перекрутит это все себе на пользу. Я думал, мир Искусства и все такое окажется почище. Говно это. В мире Искусства больше злых и нечистоплотных осьминогов, чем отыщется в каком-нибудь деловом предприятии, потому что в деловом предприятии у парня воображение что у малька – просто занять себе дом побольше, и машину побольше, и лишнюю шлюху, но обычно позыв этот не исходит из какого-нибудь вывернутого нутра, что вопиет к ПРИЗНАНИЮ СЕБЯ превыше всяких пристойностей и прямоты, как бы ни добывались они. Вот почему кое-кто из этих редакторов – такие чертовы мудачки: сами себе оттяпать ничего не могут, поэтому стараются прилепиться к тем, кто рубит и режет немного чистого мрамора... вот почему многие из них не отвечают на письма с запросами о сданной работе: все огни у них внутри разьебали себя в куски и погасли.

Я как-то ходил в вечернюю школу, по настоянию Фрай, учился, как это называется? коммерческому Искусству. Парень, который ему учил, работал на какое-то подразделение, что занималось комм. искусством, а по вечерам преподавал в школе. Мы приносили на занятия свои работы, и он выставлял их на грифельной доске, а однажды перед самыми рождественскими праздниками сказал: «Теперь моей компании нужно сделать вывеску заправок ТЕКСАКО, и я хочу возложить эту задачу на вас. Дайте нам что-нибудь для рождественской рекламы». Ну, подошло время, и вот он шел вдоль доски и рассматривал рисунки, пока не добрался до моего, и с большой яростью и гневом повернулся к классу и заревел: «КТО ВОТ ЭТО СДЕЛАЛ????!!!» «Я, – признался я, – мне показалось, что звезда ТЕКСАКО, мысль повесить звезду ТЕКСАКО и эмблему на верхушку елки будет хорошо». «Никаких рождественских елок, пожалуйста. Это никуда не годится. Нарисуйте мне что-нибудь другое». И пошел дальше.

Пару недель спустя он опять стоял перед классом. «Ну, моя компания и руководство ТЕКСАКО выбрали себе рождественскую рекламу». И показал ее всем. И вот в тот миг, в следующую же секунду, как только он это сделал, я заметил, как взглядом своим он отыскал меня. Вы знаете, что он показывал: рождественскую елку со звездой эмблемы ТЕКСАКО на верхушке, только на дерево они еще посадили маленького человечка с заправки... Я ничего не сказал. Можно было б его как-то опозорить. Но я не склонен спорить, дуться. Я чувствовал, что он знает, что я знаю, и этого было достаточно. Я свалил с занятий и напился. Потом, уже на рождественские праздники, мы проезжали мимо заправки «Тексако», и я сказал Фрай: «Смотри, детка, мой рисунок... ты же мной гордишься, да?»

я вот о чем – напиши я этот роман на туалетной бумаге, кто-нибудь им бы подтер себе задницу. про Обезьяну я написал рассказ лет 15 назад или около того, и он ТОЖЕ КО МНЕ ТАК И НЕ ВЕРНУЛСЯ. и копий не осталось. но сомневаюсь, чтобы Джон Коллиер его списал. У него, возм., больше таланта, чем у меня, и на такое вот пускаться не стоит. Но рассказ про обезьяну принес мне много пользы: обычно я излагаю его дамам в постели после того, как остальное уже сделано и мы более-менее расслабились. Фрай считала, что изложение его чудесно, а другая дама воскликнула: «о, я сейчас расплачусь, я расплачусь, такой он грустный и красивый». и расплакалась. Наверно, причина, что он (рассказ) не вернулся, в том, что я был тогда без денег и пил, и писал свое барахло чернилами, печатными буквами. В итоге я дошел до того, что печатными буквами мог писать быстрее, чем просто от руки, и всякий раз, что-нибудь записывая, писал печатными буквами, и люди говорили: «Что за хрень это с тобой? Ты что, писать не умеешь?» Не могу на это ответить. Я не знаю, умею я писать или нет. Но я точно сегодня налягу на болонскую... натуральную болонскую и живот себе набью.

Это «Туалетно-бумажное обозрение» предваряет вариант, опубликованный в «Воплях с балкона» (1993).

[Джону Уильяму Коррингтону]

Конец апреля 1962 г.

У меня есть мысль, Уилли. Давайте-ка мы с вами издадим номер. Назовем «Туалетно-бумажное обозрение». Нам даже дупликатор не понадобится. Я просто добуду рулон и заправлю вот в эту машинку. Мы, только вы и я, выгоним туда, в это «Туалетно-бумажное обозрение», наши старые стихи, от которых никак не можем избавиться. Один экземпляр в

«След», один господу богу, один Шёрмену и один Шёрменовой шлюхе, которая выдержит.
Где угодно. Как бы то ни было.

Туалетно-бумажное обозрение

Редакторы Уильям Коррингтон и Чарльз Буковски

Том I, № I

ежели хотите пялиться на телевизор,
нам насрать.

«Я на коленях» Уильям Коррингтон

этим ногам нужно бежать
но я на коленях
перед женскими цветами —
ловлю аромат забвенья
и хватаю его,
еще бы,
и вечера
часы вечерние
седоглавые вечера
кивают
и после

«Я на коленях» Уильям Коррингтон

Хэрри, привычка, а потом мы скорчили
эту рожу, и потом из Рожи
вылезли: рыба, вязы, карамелька с серым орехом,
и мы вышли наружу
и мы вышли наружу
и мы – игла соскочила, или
пленка порвалась, терпеть не могу
это больше,
я прошел 18 кварталов,
вернулся, а рожа
выросла до размеров всей комнаты,
и я понял, что это правда:
я спятил.

«Проулок, что ждет нас» Уильям Коррингтон

Наверно, надо и дальше,
утрату за утратой,
мы должны дальше,
пока последняя утрата,
скажем, в каком-то проулке,
кровь стекает, как
галстук ха ха, нас
надурили и забили до смерти,
выторговали у любой выгоды,
любой любви, любого отдыха,
руки на стены, уаа уааа!
мимо (грр!!) машины,
дрянные любовники дают дрянные
любовные обеты, рыба больная рыба
уходит с отливом
уаа уааа!! моя голова
щас падает, мы почти
в черный сон,
никогда уж не стать нам гением,
солнце несет тюльпаны, дождь несет
червей, Бог несет гения
и убирает гения тюльпан
червя чтобы все началось сызнова
новые вещи навсегда
утомительно утомительно думать
тело теперь плашмя
када мелкие крызы бегут к моим башмакам
сбегают вновь
и меня видит мальчонка
и он тоже
бежит бежит
но его поймают
как тюльпаны
как Папку
как Бельмонте
как большие камни, что крушатся
в песок
что режет там, где есть кровь
утрата за утратой
где бы мы ни
были.

(и нам по-прежнему насрать, смотрите вы ТВ или нет.
Нам нужны подписчики. Пожалуйста, помогите.)

[Джону Уильяму Коррингтону]

Май 1962 г.

[...] Сегодня получил письмо от какой-то женщины. Она мне Ницше излагает: «что мы делаем, того никогда не понимают, но всегда лишь хвалят и порицают». А потом говорит: «Должно быть, вы это имели в виду, когда в своем письме говорили о дурном влиянии похвал. Но вообразите – когда хвалят И понимают! В этом, Друг мой, единственный род практического рая для писателя, или художника, или композитора...» «Очень точно – художник определенно должен переходить от одного творения к следующему, но ни одно из них не есть целиком новые начала – ни у чего вообще на самом деле нет нового начала. Одно творение развивается из другого. Одна цель превращается в десять тысяч других. Когда находите вдохновенную мысль у себя в голове, вы, конечно же, не считаете, что она до того нова, что дыхание спирает? Она возникла из столетий подводных творений идей. Но я не намерена начинать долгий затянутый «очерк...»

Ну, слава богу за это.

что за кучка ебанных предубеждений и что за унылый зашоренный взгляд. Эти интеллигентные люди действуют мне на яйца. Каждое начало для меня (ДЛЯ МЕНЯ!!!) есть НОВОЕ НАЧАЛО. Еще как, хосподи. Как еще мне знать, мертв я или нет? что ерзает. что такое. пиздюки. Я должен видеть пёзды. Каждый цветок – новый цветок. Остальные мертвы. Хорошие они были, но мертвые. Я понимаю это, когда смотрю на мост или здание, что эта штука – КОМПИЛЯЦИЯ так называемого знания. Так ебись ты конем. Когда я пишу стих, я добавляю шкворень, красноносый шкворень с кислой серединой и окровавленной жопой. Или, может – еще лучше – ВЫНИМАЮ ШКВОРЕНЬ. Но я не желаю, чтобы мне подрезали поджилки такие вот целенаправленные очерки. Если этой суке хочется приехать и поскакать со мною на пружинках, ладно. А иначе мысли мои не «вдохновлены».

Кто-то говорит, видели Мейлера по ТВ. Говорит, очень невротичен и фразу не может завершить. Мейлер, может, и не очень, но какое отношение это имеет к письму. Если человек очень Н. и не может закончить фразу, есть шанс, что он окажется писателем получше, а не наоборот. Что не так? Все смотрят задом наперед. [...]

Мне ваши письма нравятся больше, чем Генри Миллера. Миллер, похоже, довольно стервозен и тошнотворен, как будто пытается заставить Уолтера Л [оуэнфелса] куда-то вскарабкаться. И потом это вот, с Хаксли. Немножко чересчур Х. подражает М., немножко слишком уж старательно. Почти что как если б Миллер считал, что Хаксли почти что хорош и ему бы пришлось по нему немного потоптаться, чтоб стянуть вниз. Хаксли вас не должен беспокоить, если принимать Хаксли как Хаксли, слишком начитанного, слишком образованного, почти блистательного годона, забывшего, где кровь. Но писатель развлекательный. Это как сходить в театр на пьесу, которую сняли с Бродуэя после 13-дневного прогона. Шекспира не ждешь. Так чего копыями трясти?

[Джону Уэббу]

14 сентября 1962 г.

Я не знаю, как надо писать «благодарственное письмо». Я могу писать заявления об увольнении или вот такое вот:

Детка,

я знаю, что уже ни на что не гожусь. Я тут потоптался, подумал об этом, пока ты на работе. Допиваю пинту. Нашел в комодке десять долларов и ухожу. Оставляю тебе свой экземпляр «Анатомии для художника» Енё Барчаи и 2 «Энциклопедии великих композиторов» Милтона Кросса. Присмотри за собакой. Господи, как же я любил эту гончую!

тв.,

Бубу...

Тогда я надеюсь, эта Награда не убережет мою глотку от клинка, хотя запросто может. Однако люди и получше моего оставляли свою кровь в сухих георгинах. Я просто надеюсь, что сумею вышибить из себя еще кое-что, и оно впустит в меня и во все остальное еще чуточку света.

Такова, конечно, цель Художника, помимо попыток не сойти с ума. В общем и целом, сколь пессимистичны, аналитичны или математичны мы бы насчет такого ни были, я не могу не думать, что в битве есть благородство, что к смерти немного приспособились, что в рыданиях наших, и хохоте, и ярости мы оставили хоть какую-то отметину, какую-то дорогу, что-то такое, *за что можно держаться*, кроме нашей любви на любовной постели, кроме хлопьев ночи и надгробий. [...]

Я по-прежнему в тумане насчет всей этой Награды и хожу, пробуя ее кончиком языка. Во мне есть много детского. Если все-таки решите продолжать и захотите использовать письма или части писем, нормально. Я думаю, само письмо важно как форма, сродни стихотворной форме, и оно умеет говорить то, чего не скажет стихотворная форма, а также наоборот. Странный это день. Мне почти что хорошо. [...]

Вы знаете единственное, Джон, что знаю я: искусство есть искусство, а имена вторичны. Мы не политики литературной сцены. «Черная гора», «новая критика», «Папка», Западное побережье, Восточное побережье, Г. с А., Л с Икс, мы не знаем, кто спит, бля, с кем, и нам плевать. Зачем эти дровичлы сбиваются в кружки? Чего они жалуются? Ебаная шайка сисько- и хуесосов пытается вымести прочь любые голоса, кроме собственных. Это же естественно. Выживание. Но кому охота выживать хуесосом, кроме тех, кто этим хвалится? Как вам известно, я сам немного редактировал и знаю, до чего ужасны эти напряжения. Ты печатаешь меня, я печатаю тебя. Я друг Дж. Б. (и я не про «Дж. Б.» Макклиша). Все боятся «Следа». [Джеймс Бойер] Мей публикуется в половине или $\frac{3}{4}$ журналов в этой стране не потому, что его стихи хороши, а потому, что он редактор «Следа». Это неправильно. Еще бы. А есть и другие несправедливости, что просачиваются на эту сцену, как слизь. Искусство есть Искусство, и Искусство само себе должно быть молотком.

Считаете, я действительно схожу с ума? Зачем я пишу такое длинное письмо? Что-то тут сочтется.

Так оно бывает, когда вырезываешь стихи? Все ли тут обваливается? твоя работа, жизнь, жена, страна, рассудок, все, кроме твоей любви и звука слова, резьбы, резьбы, резьбы... о боже мой, да

Я знаю, каково было Ван Гогу.
Интересно, носил ли он говно и кровь у себя в штанах
и писал на слоновьих ушах?
Как этим мальчишкам удастся, этим волосатым поэтам
и практикам с 4-ф, когда они пьют козье молоко,
пробивают карточки прихода на работу,
растят семьи, переезжают в Глендейл, голосуют за Никсона,
драят свои авто, хоронят бабулю, пьют витамины,
как им вот это все удастся. как им удастся все это????
стоять *снаружи* от пламени?

Вы мне скажите, пожалуйста, можете ли осторожничать и все равно петь прекрасную песню безумца? Нет. Я вам скажу. Это невозможно. Потом... есть и другой тип, такой же тошнотворный, кто *играет* в Художника, а Искусства у него нету. Бороды. Мари. Сандалии. Джаз. Чай. Г. Кофейни. Гомо-фигня. Нирвана нищесбродская. Поэтические читки. Поэтические клубы. Без, мне надо остановиться. Меня и так от всего тошнит.

Буковски отвечает на письмо Феликса Стефаниле, написанное как отклик на то, что редакторы «Изгоя» назвали Буковски «Изгоем года».

[Джону Уэббу]

Конец октября 1962 г.

[...] По поводу Стефаниле: люди вроде Феликса озадачены. У них есть все эти представления и предубеждения о том, какой *должна* быть поэзия. В основном они по-прежнему в XIX веке. Если стихотворение не похоже на лорда Байрона, то у тебя не все дома. Политики и газеты много разглагольствуют о свободе, но стоит только начать ее применять, либо в Жизни, либо в форме Искусства, тебе светят кутузка, насмешки или непонимание. Иногда я думаю, вставляя этот листок белой бумаги в машинку... скоро ты умрешь, все мы скоро умрем. Ну а быть мертвым, наверно, не так уж плохо, но пока жив, лучше всего, должно быть, жить из источника, в тебя засунутого, и если ты достаточно честен, может, и окажешься в вытрезвителе 15 или 20 раз, и потеряешь несколько работ и жену или 2, а может, и дашь кому по башке на улице, и спать время от времени будешь на лавочке в парке; а если дойдешь до стиха, тебя не больно-то станет заботить, чтобы писать, как Китс, Суинбёрн, Шелли; или вести себя, как Фрост. Ты не станешь морочиться спондеями, счетом слогов или рифмуется ли у тебя конец строки. Ты хочешь это записать, жестко, или грубо, или еще как – лишь бы как-то правдиво дошло. Не думаю, будто это значит, что я «кувыркаюсь в левом поле»... «играя обеими руками» и во весь голос, как излагает м-р С., «размахивая своими стихами, как флагом». Это скорее подразумевает ощущение, чтоб слышали во что бы то ни стало. Это подразумевает плохое искусство ради славы. Это подразумевает нечто театральное и фальшивое. Но такие обвинения звучат через века во всех Искусствах – продолжают и поныне в живописи, музыке, скульптуре, романе. Масса – как действительно масса, так и Художественная (только в смысле крупных практикующих количеств) – всегда намного отстает, безопасно практикуя не только в материальной и экономической жизни, но и в жизни так называемой души. Если носишь соломенную шляпу в декабре, ты покойник. Если пишешь стихотворение, избегающее массового гипноза гладко-мягкой поезы XIX

века, сочтут, что ты пишешь плохо, потому что звучишь ты как-то неправильно. Они хотят слышать то, что слышали всегда. Но забывают, что каждый век требуется 5 или 6 хороших человек, чтобы все оно выталкивалось вперед из застойности и смерти. Я не утверждаю, что я один из таких людей, но уж точно я, к черту, утверждаю, что я *не* один из других. Отчего и болтаюсь подвешенным – СНАРУЖИ.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.